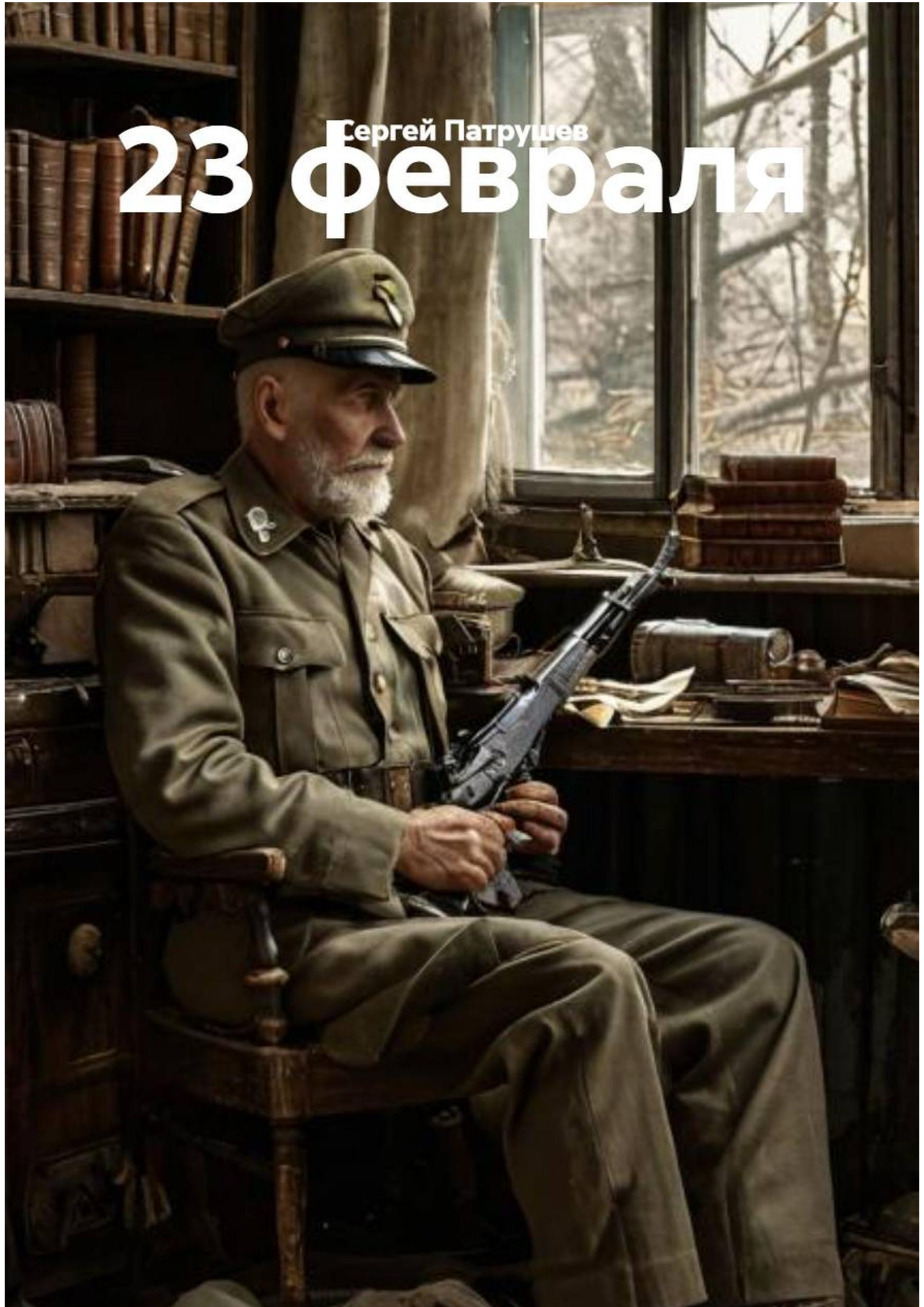


Сергей Патрушев

# 23 февраля



Сергей Патрушев

**23 февраля**

«Автор»

2026

## **Патрушев С.**

23 февраля / С. Патрушев — «Автор», 2026

Антон получает от матери необычный подарок — старый складной нож, принадлежавший его деду, прошедшему войну. Простая семейная реликвия становится отправной точкой в череде удивительных событий, которые навсегда изменят его жизнь. 23 февраля, Антон оказывается втянутым в мистическую историю соседней квартиры, где когда-то жила одинокая старушка по имени баба Шура. С момента её смерти прошло несколько месяцев, но в пустующей квартире продолжает звучать музыка, а по ночам кто-то тяжело дышит за дверью. Антону предстоит встретиться с призраком молодого лейтенанта, погибшего в сорок третьем и вот уже восемьдесят лет приходящего в эту квартиру 23 февраля в надежде увидеть свою любимую. Помогает герою старый сосед Петрович, потерявший жену и тоже живущий воспоминаниями. Вместе они разбирают письма и фотографии, пытаясь понять, что нужно неприкаянной душе. История лейтенанта и Шуры, их любовь, преодолевшая время и смерть, становится для Антона семейной легендой.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

# Сергей Патрушев

## 23 февраля

### Глава 1. 23 февраля

Февральское утро ворвалось в комнату вместе с острым, колючим светом, отразившимся от свежевывавшего снега. На стекле, в углу рамы, выросла ледяная корка, и тонкие игольчатые кристаллы переливались всеми цветами, преломляя бледные лучи. За окном, в неподвижном воздухе, висел дым из труб соседних домов – белые столбы уходили прямо в выцветшее, словно вымороженное небо. Было тихо, только изредка где-то далеко проезжала машина, и звук её двигателя казался приглушённым, будто ватным.

Антон проснулся от этой тишины, а не от будильника. Он лежал несколько минут, глядя на потолок, где от уличного фонаря осталась лишь бледная тень. В комнате было прохладно, батареи еле грели, и изо рта вырывался едва заметный пар. Он знал, что сегодня суббота, но число – двадцать третье – вынырнуло из памяти не сразу, всплыло откуда-то из глубины, вместе с ощущением смутной, давно забытой праздничности.

На кухне уже гремела посудой мать. Запах жареных пирожков с картошкой плотным, тяжёлым слоем висел в коридоре, смешиваясь с холодом из прихожей. Этот запах был для Антона самым верным признаком праздника, более честным, чем календарь. Он натянул тёплую фланелевую рубашку поверх майки и, шаркая тапками, вышел из комнаты.

Мать стояла у плиты, повязанная старым ситцевым платком, из-под которого выбились пряди волос. Сковорода шипела и плевалась маслом, на тарелке, застеленной бумажным полотенцем, уже возвышалась горка румяных пирожков с защипом сверху. Она обернулась на его шаги, и он увидел в её руках небольшой, тёмного дерева, складной нож. Она аккуратно, кончиком лезвия, сняла со сковороды приставший кусочек теста.

– Проснулся? С праздником, – сказала она негромко, кивнув на нож. – Это тебе. Дедовский. Помнишь, я говорила? Нашла вчера в комодке, в старых вещах.

Антон взял нож. Тот был тяжёлым, неожиданно тяжёлым для своих скромных размеров. Две щёчки из карельской берёзы, отполированные до золотистого блеска десятками, а может, и сотнями ладоней, плотно облегли сталь. На лезвии, у самого основания, виднелась тусклая вязь клейма, почти полностью стёртая временем. Он провёл пальцем по обуху – холодный, плотный металл. Щелчок – и лезвие с мягким, уверенным звуком ушло внутрь рукояти. Ещё щелчок – вышло. Механизм работал чётко, без люфта, как часы.

– Дедушка с ним на фронте был, – добавила мать, переворачивая пирожки. – Потом в лесу пользовался, на охоту ходил. Видишь, как сточилось? Точил постоянно. Вещь.

Антон кивнул, не в силах подобрать слов. Он вертел нож в руках, рассматривая мелкие царапины на металле, тёмные крапинки, въевшиеся в микроскопические неровности стали – может быть, ржавчина, а может, и нечто большее, чему нет имени. Память вещей была молчаливой, но осязаемой. Он положил нож на стол, рядом с горкой пирожков. Контраст грубой, почти солдатской утвари и домашней, мягкой выпечки был разительным.

Он позавтракал в одиночестве, мать хлопотала рядом, собираясь на рынок. Ел он молча, чувствуя на языке горячее тесто и пресную картошку, а перед глазами всё ещё стоял этот нож. Обычный складной нож, каких много, но в то же время – ниточка, протянувшаяся через десятилетия, через войны и потери, прямо к нему, в это холодное субботнее утро.

Позже, одевшись и выйдя на улицу, он сразу попал в объятия мороза. Воздух был сухим и звонким, снег под ногами скрипел, как новый дерматин. Он шёл через двор, заваленный сугробами, мимо качелей, вмёрзших в лёд, к остановке. На скамейке, несмотря на холод, сидел дед в старой солдатской ушанке с облупившейся красной звездой. Дед курил «Беломор», стряхивая пепел прямо в снег, и смотрел куда-то в сторону гаражей, мимо Антона, мимо домов, сквозь время. На груди его, поверх засаленного ватника, тускло поблескивали медали на выцветших колодках. Антон замедлил шаг, встретившись с ним взглядом на секунду. Дед ничего не сказал, только кивнул, словно подтверждая какую-то свою, давнюю мысль.

В автобусе было натоплено и пахло влажной синтетикой. Антон стоял у окна, держась за холодный поручень, и смотрел, как за стеклом проплывают одинаковые пятиэтажки, занесённые снегом, с редкими жёлтыми квадратами окон. Людей в автобусе было немного: пожилая пара с авоськой, полной апельсинов, хмурый мужчина с «дипломатом», похожий на инженера, и женщина с ребёнком в вязаном шлеме. Мальчишка вертелся, пытаясь разглядеть что-то в заиндевавшем окне, и мать одёргивала его: «Сядь ровно, Коленька».

На конечной остановке Антон вышел один. Впереди, за пустырьём, поросшим редким кустарником, темнела громада городского кладбища. Дорога к нему была расчищена плохо, и он проваливался в снег, оставляя за собой цепочку глубоких следов. Ветер здесь, на открытом пространстве, дул сильнее, бросая в лицо пригоршни ледяной крупы.

Он долго петлял между рядами, читая фамилии на памятниках, пока не нашёл нужный. Простой металлический обелиск со звездой наверху, под которой была впрессована маленькая фотография. Молодое лицо, почти мальчишеское, в пилотке, сдвинутой набекрень. Те самые глаза, которые он видел на старой, выцветшей карточке в мамином альбоме. Под фотографией – годы жизни и короткая надпись: «Погиб при исполнении воинского долга».

Он постоял, уставившись на овал фотографии. Потом медленно, стараясь не уронить, достал из кармана пальто дедов нож. Холодный металл обжёг ладонь. Антон положил нож на присыпанный снегом выступ памятника, прямо под звезду. Тот сразу же покрылся тонким слоем ледяной пыли.

Вокруг было безлюдно и беззвучно. Только снег поскрипывал под чьими-то далёкими шагами да вороны перекликались в голых ветвях тополей, росших вдоль ограды. Антон смотрел на нож, на фотографию, и чувствовал, как мороз пробирается под воротник, заставляя ёжиться. Он не знал, зачем пришёл. Просто сегодня было двадцать третье февраля. Просто утро началось с этого ножа. Просто захотелось, чтобы кто-то, кому это было по-настоящему нужно, тоже почувствовал себя сегодня чуточку менее одиноким.

Он развернулся и пошёл обратно, к дороге, не оглядываясь. Снег всё сыпал и сыпал, заметая его следы, укутывая обелиск, нож и старую фотографию в белую, глухую тишину.

## Глава 2. Автобус

Обратная дорога всегда казалась короче, хотя на самом деле времени уходило столько же. Антон стоял на задней площадке автобуса, привалившись плечом к холодной стенке, и смотрел, как за окном набирает скорость вечер. Редкие фонари начинали загораться один за другим, выхватывая из сиреневых сумерек сугробы, припорошенные свежим снегом, стволы берез у обочины, темные провалы остановок с одинокими фигурами.

В салоне горел тусклый желтоватый свет, от которого стекла казались мутными, непрозрачными. Дребезжал на стыках асфальта старый кузов, пахло соляжкой, нагретой резиной и чьими-то мокрыми варежками – напротив сидела девочка лет семи, прижимала к себе портфель и смотрела в пол. Рядом с ней, прикрыв глаза, дремала женщина в пуховом платке – видимо, бабушка. Голова ее мерно покачивалась в такт движению.

Антон перевел взгляд вглубь салона. Там, на сиденье у окна, примостился парень в камуфляжной куртке, коротко стриженный, с тяжелым подбородком. Рядом с ним на полу стоял армейский вещмешок, выдавший виды, с притороченными к ляжкам кирзовыми берцами. Парень смотрел в телефон, большой палец медленно листал ленту, но взгляд был отсутствующим, рассеянным. Иногда он поднимал голову и смотрел куда-то перед собой, сквозь спинку переднего сиденья, и лицо его становилось жестким, будто он видел не автобусный салон, а что-то другое, оставшееся там, за горизонтом.

Антон вспомнил утреннего деда на скамейке, его медали, выцветшие колодки. Потом – фотографию на обелиске, молодое лицо в пилотке. И этого парня в камуфляже. Три разных возраста, три разных времени, но что-то общее, неуловимое, сквозило в их лицах, в том, как они смотрели мимо, в какую-то свою, невидимую для других точку.

Автобус качнуло на повороте, и парень в камуфляже, не удержав равновесия, качнулся всем корпусом, задев локтем стоящую рядом старушку с бидоном. Он резко обернулся, вскинул голову, и на секунду в его глазах мелькнуло что-то напряженное, готовое к окрику, к команде. Но старушка только поправила платок и сказала обычным, будничным голосом:

– Ничего, сынок, ничего. Трясет-то как.

Парень кивнул, виновато улыбнувшись одними уголками губ, и снова уставился в телефон. Но теперь Антон заметил, как его рука лежит на вещмешке – не просто лежит, а придерживает ляжку, плотно, привычно, будто в любую секунду готов вскочить и бежать.

На следующей остановке в автобус зашли двое мужчин. Оба в стоптанных ботинках, в куртках из коззама, пропахших табаком и перегаром. Они громко разговаривали, перекрикивая шум мотора, и сразу же полезли в середину салона, задевая людей плечами. Один из них, с красным отечным лицом и седой щетиной на щеках, остановился прямо напротив парня в камуфляже.

– О, гляди, – сказал он своему спутнику, кивая на вещмешок. – Защитник едет. С праздничком, командир!

Голос его был пьяным, развязным, с нарочитой веселостью. Спутник хмыкнул, доставая из кармана мятую пачку сигарет.

Парень в камуфляже поднял голову. Посмотрел на говорившего спокойно, без вызова, но и без тени улыбки. Тот, кто стоял напротив, на секунду сбился, отвел взгляд в сторону, но потом снова набычился, почувствовав поддержку товарища.

– Чё молчишь-то? Язык проглотил? – он наклонился ближе, и запах перегара стал отчетливее. – Мы тут, понимаешь, за тебя в свое время... А вы...

Он не договорил. Парень медленно, очень медленно, убрал телефон в карман куртки. Потом так же медленно поднялся, оказавшись на полголовы выше говорившего. В салоне стало тихо, даже мотор, казалось, заурчал глуше. Старушка с бидоном вжалась в сиденье. Девочка напротив перестала теревить портфель и смотрела во все глаза.

– Дядя, – голос у парня был негромким, но в наступившей тишине его слышали все. – Ты пил сегодня?

– А тебе какое дело? – окрысился мужчина, но отступил на полшага назад.

– Такое, – парень шагнул вперед, оказавшись с ним почти вплотную. – Ты мне сейчас про «мы за вас» говорить будешь? А я тебя первый раз вижу. И не знаю, где ты был и что ты делал. Может, ты всю жизнь на диване просидел, газеты читал. А теперь, под шафе, решил героя из себя строить?

Мужчина открыл рот, но ничего не сказал. Его спутник потянул его за рукав:  
– Пошли, Колян, не связывайся. Ненормальный.

Автобус дернулся, подъезжая к очередной остановке. Двери с шипением открылись, выпуская клуб морозного воздуха. Спутник решительно потащил краснолицего к выходу. Тот, уже стоя на нижней ступеньке, обернулся и крикнул в салон:

– Поглядим, как вы запоете, когда настоящие придут!

Двери закрылись, отсекая его голос. Автобус тронулся дальше. Парень в камуфляже постоял секунду, глядя на захлопнувшиеся створки, потом молча сел на свое место. Рука его снова легла на лямку вещмешка. Лицо было непроницаемым, только желваки ходили под скулами.

В салоне еще несколько секунд висела тишина, а потом люди зашевелились, закашляли, заговорили вполголоса, будто ничего и не случилось. Старушка с бидоном перекрестилась украдкой. Девочка, которую дергала за рукав проснувшаяся бабушка, все еще смотрела на парня, не отрываясь.

Антон стоял у окна и смотрел на проплывающие мимо огни. Он думал о том, что праздник – это не всегда парады и салюты. Иногда это вот так: холодный автобус, усталые лица, случайная перепалка, в которой проступает что-то настоящее, неуклюжее, горькое. И тишина, которая повисает после, – тоже часть его. Может быть, самая главная.

Он проехал свою остановку. Задумавшись, не заметил знакомый поворот, и теперь нужно было выходить на следующей и топать назад через дворы. Но возвращаться не хотелось. Хотелось ехать вот так, глядеть в темноту за окном и слушать, как дребезжит старый автобус, уво-

зющий людей в вечер, в их дома, в их праздники и будни, смешанные в один долгий, бесконечный февраль.

### Глава 3. Чужой праздник

Домой Антон вернулся, когда уже совсем стемнело. В подъезде пахло кислыми щами и кошками, на лестничной клетке второго этажа горела только одна лампочка из двух, и свет вырывал из темноты облупившуюся стену с остатками старой объявления, от которого остался лишь рваный клочок бумаги.

Он поднялся на свой этаж, достал ключи, но остановился, не вставляя их в замочную скважину. Из-за двери соседней квартиры доносилась музыка – глухо, приглушенно, но вполне различимо. Старая пластинка, женский голос пел что-то довоенное, с хрипотцой, и слышно было, как иголка поскрипывает на поврежденных дорожках.

Квартира напротив была нежилой уже года три, с тех пор как умерла баба Шура, одинокая старуха, которую изредка навещала племянница из области. Антон помнил ее – маленькую, сгорбленную, всегда в темном платке и стоптанных валенках. Она вечно копалась в своем подсобном хозяйстве на лоджии, где держала какие-то ящики с рассадой, и зимой выходила кормить голубей крошками хлеба, рассыпая их прямо на снег возле подъезда.

Сейчас дверь была приоткрыта. Из щели тянуло холодом и еще чем-то – лекарствами, пылью, старой мебелью, запахом долгого одиночества. И музыка.

Антон постоял, прислушиваясь. Потом, сам не зная зачем, шагнул к двери и толкнул ее. Она легко подалась, открывая темный коридор, в глубине которого горел свет.

– Есть кто? – спросил он негромко.

Голос его прозвучал глухо, и музыка не заглушила его, а наоборот, будто подчеркнула тишину, в которую он ворвался.

Из комнаты выглянула женщина. Молодая, чуть старше его, в длинной вязаной кофте, с растрепанными русыми волосами, падающими на лицо. В руках она держала стопку старых журналов, перевязанных бечевкой.

– Ой, здравствуйте, – сказала она, и голос у нее оказался усталым, но не испуганным. – Я дверь закрыть забыла, наверное. Заходите, если что. Я тут разбираю.

Антон шагнул через порог. В квартире пахло сыростью и нафталином, но сквозь эти запахи пробивался слабый, едва уловимый аромат сухих трав. В прихожей стоял старый шифоньер с зеркалом в тяжелой раме, покрытым мутными разводами, и вешалка, на которой висело несколько пальто, давно вышедших из моды – с широкими плечами, с меховыми воротниками, вытертыми до кожи.

Женщина ушла в комнату, и Антон пошел за ней. То, что он увидел, заставило его замереть на пороге.

Комната была похожа на музей. Не парадный, а настоящий, жилой музей одной жизни. Вдоль стен стояли высокие книжные шкафы, забитые книгами с кожаными корешками, на которых золотое тиснение почти стерлось. На стенах висели фотографии в деревянных рамках – много фотографий, черно-белых, сепийных, пожелтевших. С них смотрели люди в одежде начала века, в гимнастерках, в строгих костюмах. Женщины с высокими прическами, мужчины с усами, дети в матросских костюмчиках.

Посередине комнаты стоял круглый стол, накрытый старой скатертью с кистями. На столе – стопки писем, перевязанных лентами, открытки, какие-то документы. И патефон. Старый, черный, с растробом, из которого и лилась та самая музыка.

Женщина опустила журналы на пол, подошла к патефону и сняла иглу. Пластинка еще секунду крутилась, потом замерла.

– Извините, что я без спросу, – сказал Антон, чувствуя себя неловко. – Услышал музыку. Дверь открыта была. Я ваш сосед, из тридцать седьмой.

– А я Надя, – женщина поправила волосы, улыбнулась устало. – Племянница бабы Шуры. Приехала квартиру разбирать. Тянула до последнего, а теперь вот... Двадцать третье февраля сегодня, думаю, надо бы. Она этот праздник всегда отмечала. Пластинки ставила. Муж у нее погиб, в сорок третьем.

Она кивнула на стену. Антон подошел ближе. С одной из фотографий на него смотрел молодой лейтенант – худощавый, с острыми скулами, в новенькой форме. Фотография была ретушированная, как делали тогда, – четкие линии, подведенные глаза, но все равно чувствовалось, что это просто мальчишка, совсем еще юный.

– Она мне про него рассказывала, – тихо сказала Надя, подходя и становясь рядом. – Познакомились в тридцать девятом, поженились в сороковом. А в сорок первом он ушел на фронт. Писал письма, каждую неделю. А потом перестал. Похоронка пришла в феврале сорок третьего. Как раз под праздник. Она мне говорила: «Наденька, я с тех пор этот день и люблю, и ненавижу. Люблю, потому что он для него. Ненавижу, потому что без него».

Антон молчал. Он смотрел на фотографию, на пожелтевшие письма на столе, на патефон с поднятой иглой, и чувствовал, как время здесь совсем другое, тягучее, густое, как мед.

– Я тут уже третий день, – продолжала Надя, садясь на старый венский стул, который жалобно скрипнул под ней. – Вещи разбираю. Вы знаете, она сохранила всё. Каждую открытку, каждый клочок бумаги. Вот, смотрите.

Она протянула ему маленькую фотокарточку, совсем крошечную, с неровными краями. На ней стояли двое – та самая баба Шура, только молодая, красивая, с длинной косой, и он, лейтенант. Обнявшись, счастливые, щурятся на солнце. На обороте корявым, почти детским почерком: «Лето 1940. Мы навсегда».

– И ведь правда получилось, – тихо сказала Надя. – Навсегда. Только не так, как мечтали.

Антон вернул фотографию. Подошел к окну, за которым чернел двор с редкими огнями. На подоконнике стояла маленькая елочная игрушка – стеклянный солдатик, выцветший, с

отбитой винтовкой. Рядом лежала стопка писем, перевязанная красной ленточкой, выгоревшей до розового цвета.

– Можно посмотреть? – спросил он.

Надя кивнула.

Он взял верхнее письмо. Бумага была хрупкой, ломкой, пожелтевшей по краям. Чернила выщвели до коричневого цвета, но почерк читался легко – мелкий, убористый, с наклоном.

«Шурочка, родная моя, здравствуй. Пишу тебе из госпиталя, рука уже заживает, скоро опять в строй. Ты не волнуйся за меня, я везучий. Тут у нас медсестра одна, Маруся, все время говорит, что у меня ангел-хранитель за спиной стоит. Наверное, это ты меня бережешь, оттуда, из дома. Как там наша комната? Цветут ли герани на окне? Я часто представляю, как приду, как сяду в наше кресло, как ты будешь чай наливать...»

Антон не дочитал. Аккуратно положил письмо обратно, на самое место. Повернулся к Наде.

– Тяжело, наверное, разбирать, – сказал он.

– Тяжело, – согласилась она. – Но и нужно. Нельзя, чтобы это просто выбросили. Я думаю, в музей отдать, или в архив. Там письма, документы, фотографии. Целая жизнь. Две жизни, если считать.

Она помолчала, потом встала, подошла к патефону и снова опустила иглу. Пластинка зашипела, и тот же женский голос запел о чем-то далеком, печальном, красивом.

– Она всегда его слушала, эту пластинку, – сказала Надя. – Говорила, что они с мужем под нее танцевали на свадьбе. Представляете? А я даже не знаю, что это за песня. Слова старые, забытые.

Антон слушал музыку, смотрел на фотографии, на пожелтевшие письма, на стеклянного солдата с отбитой винтовкой. За окном падал снег, крупный, густой, и в свете уличного фонаря казался почти голубым. Где-то далеко, за домами, ухал грузовик, и эти звуки не нарушали тишину, а делали ее еще глубже, еще плотнее.

– С праздником вас, – сказал он Наде, не зная, что еще сказать.

– Спасибо, – ответила она. – И вас. Хотя какой это праздник... Просто день. День памяти.

Антон вышел в коридор, прошел мимо старого шифоньера, мимо вешалки с пальто, мимо зеркала, в котором мелькнуло его собственное отражение – чужое, незнакомое, будто он тоже был частью этого застывшего времени.

Дверь за ним закрылась плотно, с тяжелым деревянным стуком. Он постоял на лестничной клетке, прислушиваясь. Музыка за дверью звучала глухо, едва слышно, но он знал, что теперь будет слышать ее всегда, даже когда пластинка остановится.

Ключ повернулся в замке его собственной двери. В прихожей горел свет, пахло пирожками, из комнаты доносился негромкий говор телевизора. Мать, видимо, ждала его с ужином. Обычный вечер. Обычный праздник.

Но что-то изменилось. Что-то вошло в него вместе с этим чужим домом, с этими письмами, с этой музыкой. Что-то, чему не было названия, но что теперь останется с ним навсегда – тихое, печальное, святое.

#### Глава 4. Ночной гость

Антон не спал. Он лежал на спине, глядя в потолок, где от проезжающих редких машин проплывали тени, и слушал тишину. Тишина была неполной – где-то за стеной мерно тикали ходики, в трубах иногда ухало, и сквозь двойные рамы едва слышно пробивался вой ветра, заметающего снег в сугробы.

Мысли не отпускали. Нож на могиле, парень в автобусе с вещмешком, баба Шурина комната с патефоном, письма, перевязанные выцветшей лентой. Чужая жизнь, остановившаяся в сорок третьем, и чужая смерть, которая до сих пор жила в этих стенах, в этих фотографиях, в этой музыке.

Часы на кухне пробили два. Звук был глухим, будто из ваты, но Антон отсчитал все удары. Два часа ночи. Самое глухое время, когда даже ветер, кажется, засыпает.

И тогда он услышал шаги.

Сначала он подумал, что показалось. В старых домах всегда что-то скрипит, стучит, переговаривается половицами. Но шаги были четкими, ритмичными, и они приближались. Кто-то шел по лестнице, медленно, тяжело, останавливаясь на каждой площадке.

Антон приподнялся на локте, прислушиваясь. Шаги затихли. Потом раздались снова – уже ближе, совсем рядом. Кто-то поднимался на его этаж.

Скрипнула дверь подъезда внизу? Нет, он бы услышал. Значит, кто-то уже был внутри. Но в такое время? У них в доме никогда не запирали подъездную дверь на ночь – ломались замки, и жильцы махнули рукой. Заходи кто хочешь.

Шаги остановились. Антон замер, вслушиваясь в тишину так напряженно, что в ушах зазвенело. И в этом звоне он услышал другое – не шаги, а дыхание. Тяжелое, надсадное, с хрипом. Кто-то стоял за дверью.

Он медленно, стараясь не скрипеть пружинами матраса, встал с кровати. Нашупал ногами тапки, сделал шаг к двери. В комнате было темно, но глаза уже привыкли, и он различал очертания шкафа, стула с брошенной одеждой, письменного стола у окна.

Дыхание за дверью не прекращалось. Оно было неровным, с долгими паузами, будто человек задыхался или плакал. Антон подошел к двери в коридор, прижался ухом к холодному дереву. Сквозь щель тянуло сквозняком.

– Кто там? – спросил он негромко, почти шепотом.

Дыхание оборвалось. Наступила тишина – мертвая, вязкая, давящая на уши. Антон ждал. Секунды тянулись бесконечно долго.

Потом раздался стук. Не в дверь, нет. Где-то дальше, в конце коридора, там, где была дверь в бабу Шурину квартиру. Три глухих удара, медленных, тяжелых, будто кулаком или прикладом.

Антон вздрогнул. Он слышал этот звук совершенно отчетливо. Стук повторился – снова три удара, теперь громче, настойчивее.

Он отступил от двери, нашарил на тумбочке выключатель. Свет ударил по глазам, заставив зажмуриться. В коридоре было пусто. Дверь в прихожую закрыта, щеколда на месте. Он подошел, отодвинул задвижку, приоткрыл дверь.

На лестничной клетке горела та же одна лампочка, бросая скудный свет на облупившуюся стену. Дверь бабы Шуры была закрыта. Плотно, наглухо. Из-под нее не пробивалось ни лучика, хотя когда он уходил, там горел свет и играла музыка.

Он сделал шаг на площадку. Холодный воздух обжег лицо, пахло сыростью и известкой. Он подошел к двери, прислушался. Тишина. Ни музыки, ни голосов, ни шагов. Только ветер гудит где-то в пролете лестницы.

Рука сама потянулась к ручке. Металл был ледяным. Антон нажал – дверь не поддавалась. Закрыто. Он нажал сильнее, потом дернул – бесполезно. Заперто изнутри.

Он постоял, тупо глядя на облупившуюся краску, на цифры «38», прибитые кривым гвоздем. Потом медленно, чувствуя, как колотится сердце, вернулся в свою квартиру. Задвинул щеколду, прислонился спиной к двери.

Стук не повторялся. Но дыхание – то самое, тяжелое, надсадное – теперь, кажется, звучало у него в голове, не желая уходить.

Он не ложился до утра. Сидел на кухне, завернувшись в старое одеяло, и смотрел, как за окном медленно светлеет небо, как снег на карнизе становится сначала серым, потом розоватым, потом белым. Пил холодный чай из кружки, которую держал в ладонях, не чувствуя тепла.

Когда часы пробили семь, он встал, оделся и снова вышел на площадку. Утро было морозным, ясным, и солнце, пробиваясь сквозь заиндевевшие стекла окон на лестнице, рисовало на стенах длинные золотистые полосы.

Дверь бабы Шуры была приоткрыта. Так же, как вчера.

Антон толкнул ее. В коридоре пахло сыростью и нафталином, но сквозь эти запахи пробивался другой – сладковатый, тяжелый, незнакомый. Он прошел в комнату и остановился на пороге.

За ночь здесь ничего не изменилось. Те же шкафы с книгами, тот же круглый стол с письмами, тот же патефон с поднятой иглой. Фотографии на стенах смотрели на него своими застывшими лицами.

Но на столе, прямо поверх писем, лежал предмет, которого вчера не было. Маленький стеклянный солдатик – тот самый, что стоял на подоконнике. Только теперь он был не один. Рядом с ним лежал другой, точно такой же, только целый, с неотбитой винтовкой. И между ними – пожелтевший треугольник письма, сложенный по-фронтовому.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.